

Мемуарный жанр любим всегда. Но особенно популярным он становится в тревожные времена, когда прошлое неизбежно окрашивается в розовые тона и смягчает сегодняшнюю боль и растерянность. Недавно фирма звукозаписи Solid Records выпустила компакт-диск знаменитого джазмена и композитора Алексея Козлова «Ностальгия». Навянная шестидесятилетиями, она воплотилась в ритмы того времени. Воспоминания у каждого свои. Но для большинства советских людей в них есть обязательное общее, поскольку ушедшая жизнь не очень-то баловала разнообразием. Общими были дворы, игры, секреты. Даже личные беды и радости резонировали в близких, тесно прижатых друг к другу коммунальным жильем. Общие воспоминания делают историю общей. Эта история стала главным героем новой книги Алексея Козлова, у которой еще нет названия, но уже сложился характер — она уникальна по материалу и упоительна своими подробностями, мастерски сложенными в неожиданную картину эпохи. Публикацию из нее мы начинаем главой, названной, как и свежезаписанный диск Алексея Козлова и Андрея Макаревича со старыми дворовыми песнями. Для кого-то они — живая жизнь, кому-то научное пособие по освоению экзотики недавнего прошлого.

Алексей КОЗЛОВ

Не знаю, как это было до войны, но послевоенные годы я хорошо помню, так как был типичным пионером-школьником, проводившим все свободное от школы время во дворе и в пионерских лагерях. У меня было как бы две разные компании друзей. Одна — дворовая, там, где я жил, между Бутырской тюрьмой и Марьиной Рощей, другая — пионер-лагерная, летняя, но постоянная из года в год. Во дворе, бывшем, по сути дела, микрорайоном детской молельной советского общества, со всеми его жесткими законами, были перемены и крепко дружили между собой дети рабочих, служащих, интеллигентов, ломовиков, профессиональных воров и мошенников. Здесь были и меценаты, и вечно толполюбившие ополыши, дети не того провавшего без вести, не то временные «сидящие» родители, просто сыночки, жившие под слабым надзором дальних родственников, каких-то бабок и теток. Компания, сбежавшаяся ежегодно на все три смены в пионерлагерь, тоже была достаточно разнородной. Лагерь был от Московского педагогического института им. Ленина, где преподавала моя отец. Вожатыми были студенты института, а пионерами — дети преподавателей, с одной стороны, и дети техперсонала (т.е. гардеробщицы, уборщицы и т.п.) — с другой. Месторасположение института — Усачевка — определяло и географию местожительства детей второй категории. Так что летом моими друзьями были юные представители усачевской шпаны, а не только профессорские лички.

Впрочем, тогда мы никаких социальных и даже половых различий не делали, ни во дворе, ни в лагере. Играли все вместе в одни и те же игры, ходили в походы, пели одни и те же песни. Вот в такой обстановке и возник пафос «пионерско-блатного» пения, еще больше объединивший наше поколение. Но почему детей из самых разных социальных слоев общества так захватил пафос жизни преступного мира, смешанный с романтикой пиратов и атаманов, «коровой» и мстительных красавцев-испанцев? Причины тому было много, и одна из них крылась довольно глубоко, в самой сути сталинской идеологии, с ее гигантской системой конспираторов, служившей постоянным фоном всей советской действительности. Я не открою Америки, если скажу, что в постоянной борьбе за власть Сталин делал ставку на преступный мир. Известно, что в системе ГУЛАГа негласно поощрялся террор уголовников по отношению к «политическим». Главным пахан страны Иосиф Джугашвили, сам бывший в молодости террористом и налетчиком, прекрасно понимал, что такое власть пахана в ГУЛАГе. А так как вся советская страна тогда фактически являлась моделью большой зоны, то вполне естественно, что тюремно-лагерная эстетика с ее жаргоном, манерой поведения и неписаными законами переносилась в жизнь простых обывателей, в мир фрейеров. Образ урки вызывал не только страх, но и особое чувство уважения. Урка был не просто рискованным и ловким, он жил по жестким воровским законам, которые, в отличие от государственных, нарушать было нельзя. И их строго соблюдали, не шли без крайней надобности на мокрые дела и, в частности, не грабили артистов и музыкантов. Нарушение воровского закона каралось подержанной жестоко, чтоб неповидали бы-

ло. Если во дворе, на помойке или в подвале мы иногда находили часть человеческого тела, то все знали, что это бандит, который «ссушил» или кого-то продал, или что-то сделал не по закону. С другой стороны, уголовный мир не был бесмысленно жестоким по отношению к обычным людям, фрейерам, своим жертвам, да и между бандитами разборки проходили не так открыто и шумно. В дворовой жизни среди мальчишек среднего возраста был модным образ уркагана, смешанный с образом матроса. Помню, как класс в третьем, не желая отставать от всеобщего повтора, я понадел себе набок, надел на зуб фиску из фольги, обрезал козырек у обычной кепки, сделал «малозырку», попросил бабушку вставить клинья в брошки, чтобы они стали клешиками, пытался достать тельник. В пионерском лагере одна вожатая научила меня бить на семиструнной гитаре, после чего я стал во дворе неотъемлемой частью пионерско-воровской компании, собиравшейся по вечерам на лавках вокруг деревянного стола, чтобы попеть любимые песни, станцевать ежелико на все три смены в пионерлагерь, тоже была достаточно разнородной. Лагерь был от Московского педагогического института им. Ленина, где преподавала моя отец. Вожатыми были студенты института, а пионерами — дети преподавателей, с одной стороны, и дети техперсонала (т.е. гардеробщицы, уборщицы и т.п.) — с другой. Месторасположение института — Усачевка — определяло и географию местожительства детей второй категории. Так что летом моими друзьями были юные представители усачевской шпаны, а не только профессорские лички.

Одним из наиболее мощных средств воздействия на сознание масс в формировании всенародного любимого образа прилагательного «героя» был «важнейшее из искусств» — кино. Начиная с «Путевки в жизнь», образы, созданные такими выдающимися актерами, как Петр Алейников, Борис Андреев, Николай Крючков, Марк Бернес или Михаил Жаров, оказывали колоссальное воздействие на внутренний мир подрастающих советских поколений. Это были положительные герои, переводчики труда, храбрые солдаты и матросы, отважные разведчики, но с повадками блатных, а иногда и явные вора и бандиты, но уж больно симпатичные (например, герой Крючкова в фильме «Котовский»). Ваня Курский Петра Алейникова был кумиром послевоенных мальчишек, его манера двигаться и говорить было так легко и приятно подражать. Те, у кого это лучше получалось, становились любимцами двора. Помню, как, играя «в войну», мы повторяли эпизоды из фильма «Малуха курган», стараясь в точности воспроизвести движения матроса, который перед тем, как выйти из укрытия и броситься под танк со связкой гранат, отгавывал товарищу недокуренную папиросу, с любовью оттирая широченную бровину своих «клешей» и говорил: «Прощайте, меня звали Колей». Все это делалось нами на полном серьезе и с неистовым пафосом. Одним из мощнейших носителей прилагательности на советской культуре был, несомненно, Леонид Утесов, популярнейший на всех уровнях — от уроков правил поведения — певец, актер и шоумен. Начало его карьеры во времена нэпа было тесно связано с исполнением блатных песен. В моей детской коллекции патефонных пластинок были записи Утесова 20-х годов с таким репертуаром, как «С Одесского кичмана», «Гоп со смычком» и «Лимончики». Пластины эти были записаны до предела, там почти не осталось бороздок и слушать их было бесполезно. Но я хранил их как реликвию, поскольку было известно, что они были запрещены. Действительно, Утесов, ставший все более популярным, постепенно менял тематику. Сперва это были песни с морским уклоном — «Ведь ты моряк, Мишка», «Рас-

кинулось море широко», затем с лирическим и патристическим, но задушевным, блатная одесская интонация не исчезала в его манере никогда. Чрезвычайной популярностью у советских людей пользовался всегда образ остроумного и положительного жулика — Остапа Бендера. В послевоенные времена книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой тельнок» официально были изъяты из школьной литературы и не перепечатывались до хрущевских времен. Но все читатели, от мала до велика, зачитывались их доведенными изданиями. Было очень популярным хохмить летучими фразами Остапа Бендера в самых разных жизненных ситуациях. Многие ходили выражения, такие, как «Может, вам дасть ключи от квартиры, где деньги лежат?», стали жить своей жизнью, без сопоставления с источником.

Нас всех тогда заставляли носить в школе пионерский галстук, и предполагалось, что каждый пионер будет ходить в нем до самой ночи. Никто особенно за этим, правда, не следил. Хотя, если кто-то из учителей (не дай бог, классный руководитель) случайно встречал ученика-пионера вне школы без галстука, он обязательно делал замечание или предупреждение. Мы все это прекрасно понимали и поэтому большинство школьников относились к галстукам безо всякого благоговения, как к обязательной формальности. Обычно, выйдя из школы, за пределы видимости, многие скорее снимали галстук и прятали его в карман, а то еще кто-нибудь из двора увидит тебя в нем, а это значит — засмеют. Между собой галстук назывался «седелкой». Уже позднее, в хрущевские времена, когда икра исчезла из системы торговли и, перейдя в сферу партаграспределителей, стала дефицитом, народ откликнулся такой шуткой, пародировавшей пионерскую кличку. «Как наденешь галстук — береги его, ведь с красною икрой он цвета одногос!»

В сталинские годы официальное отношение к этому символу было достаточно серьезным, особенно после войны, когда к образу Павла Морозова добавились имена пионеров-героев, проставившихся в борьбе с фашистами.

И все-таки, оказываясь во дворе, послевоенные дети попадали в свой особый мир, совершенно отличавшийся от школы и скрытый от мир родителей. В принципе это был типичный андерграунд, его летская разнородность. Здесь все мальчишки говорили на естественном матерном языке, который автоматически забывался дома и в школе. При девочках никто не ругался, даже самая шпана, — это считалось дурным тоном. Чисто блатные песни пелись только в мужской компании, а песни романтического невинного содержания — вместе с девочками. Мне кажется, что повышенный интерес детей того периода к надуманной романтической тематике возник во многом благодаря специфической детской литературе, имевшей воздействие на воображение пионеров. Прежде всего я имею в виду произведения Александра Грина с его вневременной и внегеографической действительностью, с вымышленными городами, странами и ситуациями. С большим энтузиазмом пелись тогда такие шедевры, как «В Кейптаунском порту», «Юн-

гой Юга» («Джон Грей»). Кейптаун, в котором Жаннетта поправляла талек, был для нас таким же нереальным, как гриновский Зурбаган. Так как эта романтика охватывала учеников начальных классов, где еще не проходили «Евгения Онегина» и поэтому еще не знали слова «повеса», то в песне о Джоне Грее вместо «был он большой повеса...» пели «был он большой по весу...». И таких аберраций было немало. Кстати, в упомянутой песне было одно непонятное и тревожащее душу место, где «Рита и крошка Нелли по плетни сумели, часто обем в любви он клялся...». Любовь втроем не совсем укладывалась в детском воображении. Сразу после окончания войны в клубах начали показывать так называемые трофейные фильмы, среди которых было много приключенческо-эзотических, на тему пиратов, ковбоев, охотников за кладами, мушкетеров, Робин Гуда и Зорро, индийских робини и восточных шейхов. Позднее пошли сериалы «Тарзана». Действие фильмов



Гитара — пропуск в дворовый свет

Пионерская блатная



Леша Козлов в школе

и во дворе

город Анапу», а также откровенно шуточные: «Ко мне подходит санитарка-звать Тамарка», «Мама, я поваря люблю...», «Чемоданчик», «Помнишь Мезозойскую культуру» на мотив популярного танго Леонид Утесова «Если любишь — найди» и много других. Были и совсем похальные юморные песни, которые все малолетки пели, лихо подражая взрослым, но в глубине души стеснялись и не все понимая. Ну, например: «Поща я раз купаться, за мной следил бандит, я стала раздеваться, а он мне говорит...» — дальше вспоминайте сами.

Нельзя не упомянуть любимые всеми пионерами песни, где слова, сочиненные неизвестно кем, были положены на давно известные мелодии. Это относится в первую очередь к песне «На далеком Севере эскимосы бегали», которая пелась на мотив очень популярного довоенного американского фокстрота «Девушка играет на мандолине». На основе старой еврейской мелодии «Бай мир бист ду шен» было сочинено много разных новых слов. Например, в годы войны Леонид Утесов записал на пластинку замечательную, остроумную песню «Барон фон дер Пшик», а во дворах пользовалась огромной популярностью песня на ту же мелодию — «Старушка не спеша, дорожку перешла, ее оставил миллионер...». Прочем в этой песне присутствовал явный национальный колорит, поскольку старушка оправдывалась перел мильионером, говоря: «Ах Боже, Боже мой, ведь я иду домой, сегодня шло динное описание того, что она несла еще в сумочке, и все это пелось с еврейским акцентом. Но я твердо помню, что при этом никакое антисемитское смысла в песню не вкладывалось. Это был про-

сто юмор. Вообще во дворе национализм не прощел. Конечно, иногда могли обзывать кого-нибудь «жиденком» или «армянской», но это было довольно редко и в каких-то крайних нервных ситуациях, споря. Но после этого рассуждая на дружбу с тем, кого обзвали, не приходило. А это вносило определенные сложности в дальнейшую дворовую жизнь, например, при формировании команд для игры в футбол, в лапту, в казаки-разбойники. Кстати, прощения просить было не принято, поэтому обиды забывались несложно.

Среди блатных песен, которые пелись всем двором, независимо от степени принадлежности поющих к настоящему блатному миру, была отдельная категория, относящаяся к теме взаимоотношений вора с его родителями. Чаще всего это было покаяние вора перед матерью, которая страдала оттого, что ее родной сын погибает в зоне. Вспоминать хотя бы такие фразы: «У всех дети как дети, а се — в лагерь», «А мать по сину плачет и страдает, болит и стонет надорванная грудь...». В песенных сюжетах экзотический фольклор, брошенный в жез нерекло вспоминал о матери в тяжелой, роковой минуту — «Я тебя не увижу, моя родная мама, ворах нас окружила, «руки в гору!» кричат...». Отец у вора чаще всего оказывался полдером, бросившим мать с маленьким сыном, что и определяло его дальнейшую судьбу — «Вот вырос сын, с ворами он создан, он стал кутить и дома не бывал, он время проводил в притонах и разврате и позбыл свою старушку-мать...». В одной из песен таким отцом оказывался даже прокурор, который, узнав, когда он посылал на расстрел, сам повисел над двойной могилой». Надо сказать, что песни этого типа и сейчас кажутся образцом довольно высокой морали, очевидно, утраченной в наше время. А учитывая огромное влияние двора на его обитателей, не побоюсь сказать, что многие из таких песен имели определенное воспитательное значение, как ни парадоксально это звучит. Классические блатные песни типа «Гоп со смычком», «Мурка», «На Дербиасовской открылась пивная» или «Жора, поддержи мой макинтош» уже тогда воспринимались как нечто традиционное и немосковское (о нэте и Одессе узнали позднее). Извечная тема прощания маруш «Мурки» была отражена в ряде других песен, в таких шедеврах, как «В кепке набок и зуб золотой» или «Я помню лето, когда тебя я встретил». Эти песни пелись безо всякого юмора, на полном серьезе. Такие сакраментальные фразы, как «Костюмчик серенький, колесики со скрипом на тюремный халатик променял, за эти восемь лет немало горя видел, и не один на мне волосик полинял...» или «Он лежал так спокойно и тихо, как гитара осенней порой, только кепка валялась у стенок, пудей выбило зуб золотой...», воспринимались как большая поэзия и западали в душу безоговорочно и надолго.

Была неуловимая грань, за которой для пионеров ложный пафос романтики игры в блатных заканчивался. В каждом дворе было немало настоящих уркаганов, шпалачей, форточников, фуфужников, майданчиков и представителей других профессий, самых разных возрастов, от психически неуравно-

вешенных шкетов-огольцов с «мойками» до великовозрастных «лбов», из которых кое-кто уже отсидел сроки и был знаком с тюремным пафосом отнюдь не по песням. Когда вечерами большая разношерстная компания собиралась в нашем дворе, чтобы попеть, мне кричали в окно, и я «выходил во двор», беря свою гитару. Если костяк такой компании составляли взрослые, имеющие отношение к уголовному миру, то исполнялись главным образом настоящие лагерные и тюремные песни, где не было никакой романтики, а была тоска, ненависть и безнадета. Достаточно вспомнить «По тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута — Ленинград» или «Я помню тот Ванский порт». Пионеры тоже иногда подпевали, но в то же время понимали, что лучше в этот ад не попадать, лучше прожить в какой-нибудь другой романтике, не связываясь с законом.

Время шло, мы выросли. Озани, окончив семилетку, становились старшеклассниками и собирались дальше получать высшее образование, другие шли в техникумы и ФЗУ, третьи вообще бросали школу и вливались в скрытый от нас «фартуш» мир, иногда исчеза на год и появляясь вновь с несколькими изменившимися повадками и выражением глаз. Двор был настолько увлечен своей бурной жизнью, что отсутствие некоторых ребят, отбывавших короткие сроки в исправительно-трудовых учреждениях, часто вообще не замечалось. Лишь позже мы узнавали, что кто-то «отсидел». Дружба от этого не прерывалась, но чувствовалось, что те, кто побывал «там», заметно изменились, повзрослели и потеряли прежнюю пионерско-романтическую наивность и, я бы сказал, радость бытия. Когда я учился в девятом-десятом классах, пение во дворе под гитару потеряло для меня смысл и было вытеснено танцами под патефон. Более того, сам двор стал терять свое значение в моей жизни. Что касается песен, то меня продолжали интересовать те из них, которые являлись собой образцы городского фольклора, пронизанные своеобразным, нелепым, даже сюрреалистическим юмором. Как правило, это были песни, сочиненные во время и после войны, и отнюдь не в зоне. Прежде всего к ним относилось все, что было связано с судьбой фронтовиков, вернувшихся с войны. Одной из животрепещущих тем была неверность жен, взять хотя бы такую песню, как «Я был балованным развельчик, а он — пшаришка штабной, я был за Россию ответчик, а он стал с моею женой...». В других песнях описывалась трагедия калек, потерявших на войне ноги, руки или зрение и брошенных своими родными и любимыми. Через несколько лет после войны немало калек, брошенных государством на произвол судьбы, превратились в обозленные, спивавшиеся граждане, бездомных и безработных. В общественном транспорте, особенно в электричках, было тогда множество нищих-попрошак, инвалидов войны, которые все развлекали пассажирами песнями, составившими особый жанр, характерный своим историческим уклоном и ни с чем не сравнимой ритмикой. В этих песнях нищий обычно выдавал себя то за сына Льва Толстого («Жил был советский писатель, Лев Николаич Толстой, не ел он ни рыбы, ни мяса, ходил по квартире босой...») либо за сына римского кардинала («Теплый дождь прошел над Ватиканом, собрался Кардинал по грибы, вот приходит он к Римскому Папе, папа-папа, ты мне пособи...»). Песни такого типа уже тогда начала коллекционировать интеллигентная публика как образцы кича. Их пели в компаниях, на вечеринках наряду с псевдоблатными песнями нового типа, сочиненными уже как пародии на дворовый фольклор. Мне кажется, к ним относится песня, начинавшаяся словами: «Стою я раз на стреме, держу за наган, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне гражданин...» Интеллигентская подделка проплетает в этой песне с момента, когда вора, проявляя патристичность, отказываются продать шпизону «советского завода план». Там есть замечательные строки — «Советская малина врагу сказала: «Нет». И после сдачи шпизона власти НКВД «меня благодарили власти, жал руку прокурор, а после засадили под усиленный надзор...» Уже будучи студентом, я услышал блатную песню нового типа и более позднего происхождения — «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела» — прекрасную подделку, автор которой мне неизвестен.

А на грани 50-х и 60-х в жизнь советского общества вошли песни таких великих бардов, как Александр Галич и Владимир Высоцкий. Корни их творчества лежат там, в нашем прилагательном дворе детства, но им удалось подняться в своем жанре на высочайший уровень и стать голосом совести непролазной части населения Советского Союза... Но это уже другая тема.

Главный редактор номера
Анатолий КОСТЮКОВ

Ответственные секретари
Юрий ПАТРИН,
Евгений СЕМЕНОВ

Логотип:
Семен ЛЕВИН,
Борис МИРОШИН

Дизайн-макет:
Аркадий ТРОЯНКЕР

Художественный редактор
Владимир БАБИЧ
Технический редактор
Дмитрий ТУМАНОВ
Зав. корректуры
Светлана КАРТАШЕВА



ГАЗЕТА

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РФ 20 августа 1991 г. Регистрационный номер 1054.
© Общая газета. Перепечатка допускается по согласию с редакцией, ссылка на «ОГ» обязательна.
Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Правовое обслуживание газеты осуществляет Адвокатское Бюро «Барцевский и партнеры».

Адрес редакции: 121151, Москва, Кузнецовский пр., д. 22
Справки по телефону: 915-22-88; факс 915-51-71
Адрес для писем: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 1

Наш подписной индекс: 32138

Отдел распространения
Людмила ЛИП
Тел.: 915-53-89

Отдел рекламы
Тел.: 915-70-40, 915-26-19.
Факс: 915-26-06

Производственно-издательский отдел
Ирина СОВКОВА
Тел.: 915-75-81

Цена свободная

Вёрстка компьютерного центра «Общей газеты». Технический директор Дмитрий ЯМПОЛЬСКИЙ.
Вёрстка выполнена на оборудовании Apple Computer.
Отпечатано в типографии издательства «Пресса», 125865, ГСП, Москва-137, ул. Правды, 24.
Номер подписан в печать 11.5.96 г. Заказ 12221. Тираж 10000 экз.